



*And, to be sure that is not false I swear,  
A thousand groans but thinking on thy face  
One on another's neck do witness bear  
Thy black is fairest in my judgment's place.  
In nothing art thou black save in thy deeds,  
And thence this slander as I think proceeds.*


(Sonnet 131 by William Shakespeare)





## Павлины и папи



 — **Н**астепного ранка шибылы два трупе, — пел возничий на облучке с таким нарочитым трагическим завыванием, что его пассажиры, не знавшие по-польски, переглянулись и спросили:

— О чем может быть эта песня?

— Наутро приплыли два трупа, — перевел с удовольствием нотариус-поляк, а товарищ его прибавил перевод уже следующей фразы:

— И весла с того челнока.

Два пассажира, лекарь-фламандец и жид-ювелир, пригрюнились. И было отчего — холодно было в карете, печку пожадничали, понадеялись, видать, на весну раннюю и дружную. И соседи по карете, те самые два нотариуса-поляка, попались сволочи. Нотариусы день свой начинали с чеснока, как будто ждали нападения упырей, и продолжали — зловонным дешевым табаком, и так до самой ночи, до постоялого двора.

Наконец-то возле Ченстохова поляки сошли, и ямщик крикнул трубно и весело:

— Принимай павлинов!

И не обманул — в карету забрались два монаха-паулина, в коричневых католических рясах. Один прижимал к груди квадратный маленький сверток, а другой — наоборот, сверток веретенообразный.

— Что ж в багаж не привязали? — огорчился Фима Любшиц, ювелир жидовский, пожилой юноша, мелкий, острый, с томно припухшими розовыми веками. Был Фима тонок и изящен, но все равно опасался, что со свертками — места ему в карете совсем не останется.

— Нельзя! — строго отвечал монах и прибавил, смеясь: — То реликвии святые.

Под своим кашононом был он весел, румян, словно блином умыт, и белые отросшие волосы нежно осеняли его голову и щеки — как пух на утенке, видать, с дорожными заботами монах позабыл побриться. Глаза католик имел самые плутовские и говорил высокой темпераментной скороговоркой, словно был не монах, а, например, барышник. Спутник его, тот самый, что с длинным свертком, лысый, огромный, занял собою полкаресы и теперь сидел молча, потушив очи, и притворялся спящим. Обросший же католик-весельчак пристроил свой маленький сверток на коленях и спросил, горохом рассыпая быстрые немецкие слова:

— А что, ребята, кто ведает — открылась ли Москва?

— А разве была она закрыта? — удивился четвертый пассажир, Яков Ван Геделе. Яков этот, по профессии лекарь, был молод и хорош собою, темной масти, но с глазами очень светлыми, такие глаза романисты именуют бриллиантовыми. Неправильность черт его искупалась их живостью и почти девической миловидностью.

— Тю, как же ты едешь и не знаешь! — расхохотался монах. — Почитай, весь февраль Москва закрыта была, кордоны

стояли, не пушали никого — ни на въезд, ни на выезд. По политике ловили кого-то. А сейчас — отверзли врата, гуляй гольтьба, — монах поднял руки, потянулся, и под рысой его что-то весело звякнуло.

Стояла весна одна тысяча семьсот тридцатого года — в России только-только выбрали новую государыню, и потому, наверное, перекрывали и дорогу в столицу — власть делили, берегли сладкий каравай от лишних ртов.

Ямщик затянул опять свою трагическую протяжную песню, и некому больше стало перевести — о каких еще новых злосчастьях ведется в ней речь.

Фимка спросил с ласковой осторожностью:

— А вы, святые отцы, не страшитесь ли разбойников?

Весельчак тут же отвечал с готовностью:

— Слышал ли ты, жидовин, о воинстве Христовом? Добрый монах всегда отстоит себя.

Спутник его очнулся на миг, разбуженный подвернувшейся под полозья кочкой, и пробормотал что-то по-русски, то ли в ответ на Фимкин вопрос, то ли так. Явно не ждал он, что его здесь поймут, да только Яков Ван Геделе по-русски прекрасно понимал. И разобрал, что именно сказал гигант как бы про себя:

— А чего нас бояться?

Как только дорога завернула в лес, ямщик бросил петь, и паулины почему-то соскучились, как будто чего-то им в дороге стало не доставать. Жид и фламандец переглянулись — дурное предчувствие передалось и им. Такой лес, темный, хвойный и долгий, по всему обещал разбойников. И — не обманул.

Кони вдруг встали, и тут же послышался жуткий свист — как будто отовсюду сразу, — и выстрелы, и ямщик мешком

свалился с облучка. В переднее окошко видно было — и как он упал, и поваленное дерево, преградившее лошадям дорогу.

— Вот и здрастье, кошкина отрыжка! — как будто даже обрадовался обросший весельчак-паулин, будто бы обрел наконец-то нечто долгожданное. Товарищ его мгновенно размотал свой сверток, извлек из него два ружья.

— Кто горазд — стреляет, остальные — на пол, — скомандовал он весело и прикладом вышиб у кареты стекла. Фимка тут же с готовностью скатился на пол, по пути уже что-то пряча во рту. Ювелир, не кот начал. Яков с не меньшей готовностью рванул из-за пояса единственный пистолет, присел возле импровизированной бойницы и взгляделся в заснеженные ветви — не мелькнет ли среди них голова. Не мог он не оценить — невольно — как вдруг ожил и заиграл огненно прежде сонный здоровяк-монах.

— Одного снял! — Грохнул выстрел, кусты шевельнулись, брызнули снегом и польской руганью, и гигант похвалил сам себя: — Ай да я! А где первый — там и второй!

Яков даже не видел разбойников за ветвями, а этот, божий человек, — прекрасно различал, и готовился уложить еще пару. Белокурый же весельчак-паулин тем временем выбрался из разбитого переднего окошка на облучок и теперь поворачивал карету — в обратный путь. Слышно было, как пули свищут над облучком, но вотще — отважный паулин уцелел, развернул карету, и кони заржали, и понесли — уже обратно.

— Слава господу, кони целы, — монах зорко оглядел несущиеся за окнами деревья — снежный сквозняк так и стремился в разбитые стекла, — поддернул рукава, снял ружья с окон и бережно завернул их обратно в рогожку. — Вот и от-

стрелялись. Поднимайся, кончилась потеха, — толкнул он ногою все еще дрожащего на полу Фимку.

— Куда мы теперь? — спросил Яков, убирая пистолет обратно за пояс. Было ему немножечко стыдно — стрелять-то он стрелял, да только навряд ли попал в кого.

С облучка отозвался импровизированный возница:

— До Варшавы объездом, здесь осталось с гулькин хер. А там — нового кучера отыщем, не я же вас до Москвы повезу, я не за то деньги выкладывал, чтобы на ветру зад морозить. — Видно, то была шутка — весельчак сам себе рассмеялся.

— Как же не попали в тебя? — подивился со своего места Фимка, уже успевший разложить сокровища изо рта обратно в кошель. — Ведь пули так и свистали, так и свистали...

— Отчего ж не попали? — возразил с облучка паулин, и видно было, как он пальцы продел — в дыры от пуль на коричневой рясе. — Очень даже попали. Вот, вот и вот, и ляжку зацепило, но там царапина, я даже перевязывать не стал. Заступница выручила, матушка, — монах похлопал себя по груди, отозвавшейся деревянным звуком. — Я ее храню, а она — меня.

— Икону, что ли, везешь? — догадался Фимка.

— Ес, чудотворную, — подтвердил возница.

Товарищ его тем временем вернулся в мирную свою ипостась — прикрыл веки и заклевал носом.

В номере варшавской гостиницы паулины мгновенно переменили католическую славную веру — на русскую ортодоксальную. С изумлением глядели Фимка и Яков на стремительное переоблачение из коричневых простреленных ряс — в черные рясы русских монахов. У обросшего блондина-весельчака под рясой обнаружился не только сверток



с иконой, но и кольчужный доспех, дорогой и редкий — ювелир Фимка тут же оценил его и аж присвистнул от восхищения:

— Так вот что тебя хранило! А я-то думал, и впрямь икона...

— Нет спасения без истинной веры! — поднял значительно палец другой монах, тот, что прославил себя недавно меткой стрельбою. — А доспех — то лишь видимая подмога.

Тут дверь приоткрылась, заглянула девица непотребного рода занятий — о чем свидетельствовали веселые ленты на ее переднике, — и поманила философа за собою. Тот разгладил на себе новую черную рясу и устремился на поиски приключений.

Ювелир Любшиц, уже осознавший, что спутники их недалеко ушли от недавних лесных татей, устроился на краю кровати, завернувшись в одеяло, как куколка, и приготовился отойти ко сну. Он пожелал соседям спокойной ночи, затем извлек из поясного хранилища какие-то свои ювелирные сокровища и рассовал за щеки, словно белка орехи. После чего — смежил веки и то ли уснул, то ли прикинулся спящим.

Монах и Яков — сидевшие верхом на стульях друг напротив друга — переглянулись, монах окинул молодого человека неожиданно колючим взглядом сощуренных лисьих глаз и проговорил вполголоса:

— Что-то мы забыли познакомиться. Или нарочно не удосужились. Но жид, — кивнул он на завернутого в куколку Фимку, — трус и шляпа, и похер, как его звать. А ты молодец, стрелял, не спужался...

— Мне не привыкать, — усмехнулся Яков.

— Иван, — представился монах и после паузы прибавил: — Трисмегист. Божий человек, как сам видишь.

— Яков Ван Геделе, — представился и Яков, — лекарь. А ты, выходит, русский? Или грек? Трисмегист...

— Русский, — лисьи щелки глаз зажглись лукавством.

— Я знаю по-русски, — похвастался Яков. — Мальчишкой в Москве живал, еще при царе Петре.

— Значит, при тебе не стоит нам с товарищем по-русски стовариваться, — подмигнул собеседнику весельчак Трисмегист и вдруг извлек из-за голенища плоскую фляжку, протянул Якову: — Отведай-ка, лекарь, русского гостинца. Зелено вино, полугарное!

Яков сделал глоток и вернул флягу хозяину.

— Скажи, Иван, а Трисмегист — не в обиду тебе, — уж больно чудное имя. Откуда оно такое?

— Ты же в Москве живал, — монах отхлебнул из фляги и протянул ее собеседнику — по-новой, — и о людях тамошних слышал. Знаешь, вор на Москве есть знатный — Иван Каин? А я, наоборот, Иван — но Трисмегист. Внял?

— Уж понял, что ты не монах, — Яков обжег горло огненной водой, закашлялся. — Значит, это у тебя не фамилия, а вроде титула.

— Лыстец! — монах встал со своего стула и от души хлопнул давящегося Якова по спине — кашель прекратился. — Нет у нас титулов, мы не баре.

— Кто ж тогда — неужто все-таки монахи? Один философ так и называл остроги — монастырями дьявола.

Трисмегист вдруг расхохотался так, что в горле забулькала водка:

— Тогда уж к твоим услугам — послушник Карманно-Тяжского мужского монастыря города Охотска, под патронатом архиерея Тихона Воровского, — он даже наклонил голову

в шутовском поклоне. — А сам-то ты — кто, откуда? Если не тайна.

— Да уж точно не тайна, — улыбнулся Яков — улыбка у него выходила детская, совсем бесхитростная и какая-то ласковая. — Лекарь, в Лейдене отучился медицине, после странствовал четыре года с шевалье одним, да осиротел, хозяин мой помер. Вот, возвращаюсь в Москву, к дядюшке под крыло, как русские говорят — несолоно хлебавши. Дядька мой доктор в Москве известный, Клаус Бидлоу. Может, знаешь?

— Кто ж на Москве Бидлу не знает? Добрый человек, — колючие глаза Трисмегиста потептели. — Нашего брата с дерьмом не мешает, различий не делает. Пулю из братишки моего как-то вырезал. Хороший у тебя дядька. А что за шевалье такой был, что с тобой по Европе шастал? Может, тоже знавал я его?

— Шевалье де Лион, — вздохнул опечаленно Яков, с некоторой, впрочем, наигранностью. — Тонкий был господин, шпион искусный, у трех орлов на жалованье. Сам понимаешь: тут и дамы, и гризетки, и балы у немецких князей — только успевай отряхиваться. Да только не уберег я его, свое неверное счастье.

— Как же так?

— Захотелось шевалье в коллекцию и четвертого орла, царского, и тут-то ему неведомый завистник тофанки и подсыпал. А я с противоядиями — ну, так себе... Да и нет противоядия пока что от аква тофаны. Вот я и осиротел — отправился мой шевалье в фамильный склеп, а я — к дядюшке, обратно, в Москву, в дерьме и позоре.

— Так ты, выходит, с алхимией накоротке? — оживился Трисмегист.

— Я лекарь, — отвечал Яков, как будто извиняясь, — От кашля могу микстуру состряпать, или от колик, или чтоб не спать всю ночь. Или — чтобы, наоборот, уснуть.

— Или микстурку, после которой человек как на духу все тебе выложит...

— Есть и такая, только для нее эфедра нужна, — легкомысленно отозвался Яков.

— Я тебя в Москве разыщу, — пообещал явно вдохновленный Трисмегист, — пошепчемся.

Они прикончили флягу с водкой. Фимка в своей одеяльной куколке вполне натурально посапывал — спал, не притворялся.

— И нам надо ложиться, — спохватился Яков, — завтра дорога.

— Может, еще по одной? — предложил искуститель-монах и потянулся к другому своему голенищу. — Завтра в карете выплещься. Вряд ли тати еще полезут — у них эстафета, весь тракт уж насыпан, как мы отбились.

— У них что, как у дипломатов — почта? — удивился Яков, принимая из рук второй уже шкалик.

— Вроде того. Не хотелось нам славы, да увы — нашла и за печкой, — без радости признал монах.

— Погоди, Иштван, если вы с приятелем — не монахи, для чего ж вам икона? Не заместо же доспеха, в самом деле?

Трисмегист Иштвана проглотил спокойно, а за икону, видать, обиделся.

— Думаешь, раз лихой человек, так сразу и нехристь? — Он задумался, почесал в голове, ероша тонкие белые волосы. — Это непростая икона, лекарь, она многое может. И ждут ее в Москве не дождутся. Слышал, наверное, про черных богородиц, и про матку бозку Ченстоховску — что они умеют?